

Это что-то кармическое. Время от времени на меня с неба падают совершенно посторонние ненужные бабушки — иногда очаровательные, иногда отвратительные, иногда просто жалкие, но все без исключения одинокие, больные и несчастные.

Они ждут моего внимания и участия, скромных продуктовых наборов (кефир, булка хлеба, два килограмма картошки, пачка сливочного масла, замороженная курица, немного сыра и немного колбаски), заполняющих их пустые холодильники, а главное — общения.

Это странно, поскольку я им — никто.

Они говорят со слезами: «Наташа, ты ангел!» и дарят по праздникам ангелочков — кто самодельных, а кто — купленных в магазине на последние копейки.

Только один рождественский херувим мне понравился — он был японский (косоглазенький), белый, атласный, в золотых звездочках, и трогательно пел, если повернуть ключик на спине чуть ниже крыльев: «Джингл белс, джингл белс, джингл ол зе вей».

Он жил у меня дома.

Но кто-то из завистливых гостей его украл.

Остальные составили музей неликвидов в моем рабочем кабинете: теснятся пыльные, попсовые, страшенькие, китайского производства (а самодельные еще хуже) на задворках огромного письменного стола, живут какой-то своей ангельской тихой жизнью, никому не мешают, ни во что не вмешиваются, не вредят, но и не помогают.

Выбросить хлам у меня рука не поднимается — все же это ангелы, все же их дарили с любовью и нежными словами...

А старушки-дарительницы меня и впрямь любили.

Кроме самой первой — Прасковьи Ивановны Пахомовой, моей родной бабушки, маминной мамы.

ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА

Той было уже семьдесят с лишним лет, когда я родилась, и доктор Альцгеймер нашел бы в ней идеальную пациентку. (Прямо по анекдоту: «Мама, как зовут того парня, от которого я без ума? — Альцгеймер, доченька!»)

Я про нее уже сто раз писала, потому что своей слабоумной и ничем рациональным не объяснимой ненавистью она нанесла мне, тогда еще абсолютно невинному ребенку, первую в жизни психологическую травму.

А это значит — у ребенка до сих пор душа болит.

Однако повторяться не хочу.

Скажу только, что Прасковья Ивановна отравила мое в целом счастливое детство.

Впрочем, и я в долгу не осталась.

Когда подросла, а бабушка совсем состарилась, ей отлились мои младенческие слезки: я, в свою очередь, отравила ей почти счастливую старость.

Я научилась изощренно, так, чтобы мама с папой ничего не заметили, доводить старушонку до нервических припадков.

Один раз она даже погналась за мной с ножом.

Но, естественно, не догнала.

Поскольку здоровая десятилетняя девочка бегает гораздо быстрее восьмидесятилетней старушки с палочкой.

Я вспрыгнула на забор, сделала ей «нос» и показала язык.

Но тогда, видимо, и завязался кармический узел.

Странно, вообще-то.

Ведь не я первая начала войну.

Я еще говорить не умела, когда бабушка принялась делать мне пакости.

Неужели мироздание (тире Бог) полагает, что маленький ребенок способен понять и простить необъяснимую агрессию взрослого человека? И никогда не попытается отомстить?

Я только сейчас, когда вырос мой сын и подрастают внуки, начала понимать, в чем моя вина — да, любой ребенок, когда его обижают, плачет, кричит, набрасывается на обидчика с кулаками...

Может быть, это и нехорошо, зато естественно.

Но мне родители в свое время категорически запретили обижать бабушку, что бы та ни сделала.

А маму с папой я слушалась.

Хорошая девочка — хвалили они.

Поэтому, обнаружив в портфеле тетрадку с домашним заданием, безнадежно залитым чернилами (бессильные происки Прасковьи Ивановны), я никому не жаловалась, ничего ни родителям, ни ей не говорила, не кидалась с кулаками, а только смотрела злыми глазами.

Ну, думала, гадина старая, подожди.

Я дождусь момента.

Ты у меня еще не то получишь и не так заплачешь.

И, конечно, такой момент рано или поздно наступал.

Вот за эту недетскую рассудительную (не спонтанную — ах, если бы!) мстительность я, наверное, и расплачиваюсь до сих пор.

Кстати, первый игрушечный ангелок мне достался после смерти Прасковьи Ивановны.

Мама разбирала ее сундуки, выкидывала на помойку сгнившие, поеденные молью тряпки — бабушкины туалеты, в которых та блистала до революции, однако

нашла и мешочек с остатками былой роскоши — золотые цепочки в нем лежали, кольца с натуральными рубинами и изумрудами, немного рассыпного золота...

Дед наш, бабушкин муж, был не то чтобы очень богатым, но зажиточным человеком.

Честная моя мама немедленно отнесла золотой песок в милицию — упаси Бог, сказала на все уговоры соседей, советовавших ей пойти с товаром на черный рынок, мне только спекуляции золотом для полного счастья в жизни не хватает.

И какие-то гроши от государства, типа двух тысяч нынешних рублей, за сто граммов чистого золота мы тогда получили.

Но был еще один мешочек с вещами, которыми Прасковья Ивановна, надо полагать, особо дорожила.

Там лежала фотография мальчика месяцев восьми в кружевных пеленках — ой, ну впрямь ангелочек и невообразимый красавчик; какой-то серебряный шарфик-паутинка (ни моль, ни плесень его почему-то не тронули); детские смешные туфельки, еще более смешная погремушка (никто в середине двадцатого века таких уже не делал и не видел) и несколько прелестных восковых ангелочков.

С голубыми глазками, сложенными на груди ручками и золотыми кудрями.

— Это Ленечка, — сказала мама, погладив фотографию. — Мой младший братик. Он умер в год и два месяца. Отец как раз в отъезде был, а мама очень плакала. Шарфик этот она надевала на Ленечкино крещение, я помню...

Рождественские ангелы украсили первый и последний Новый год этого бедного малыша. Бабушка их хранила до смерти.

Не знаю, куда делись остальные ангелы, но своего-то, которого мне мама вручила со словами: «Береги, это память о бабушке», я сожгла в первый же вечер — побежала к друзьям, сказала: «Смотрите, какая свечка!», мы ее запалили, ангелок растаял, и никто в тот момент не вспомнил ни о старой бабушке, ни о маленьком Ленечке.

Злые дети.

Так что мне есть за что расплачиваться.

ТАИСИЯ ЛЕОНИДОВНА

Первой старушкой, которая свалилась на мою голову в сознательном возрасте, была подруга юности моей матери, Таисия Леонидовна, правнучка знаменитого трагического актера Каратыгина.

О ней я давным-давно тоже большой рассказ написала.

Поэтому опять-таки повторяться не хочу.

Расскажу кратко.

Она ни единого дня в своей жизни не работала, сидела у окошечка в красном бархатном платье, вышивала шелком и мулине, а кормил ее муж — очень милый, неглупый и интеллигентный человек, Павел Ильич, инженер-путеец (очень гордился тем, что окончил одно высшее учебное заведение с Федором Михайловичем Достоевским), бывший дворянин и вообще красавец.

Детей им Бог — к счастью или нет — не дал.

Однако время шло, умер Павел Ильич, обеспечивавший достаток в семье, умерла моя мама, которая худо-бедно поддерживала старинную подругу в беде, наконец, умер мой папа, взваливший ношу на себя, только попросил незадолго до смерти, очень стесняясь, откладывать для Таисии Леонидовны десять рублей от моей зарплаты.

Ну, вроде тысячи на наши деньги.

Потому что родственницы, родные племянницы, ей в помощи отказали. Написали: «Надо было работать, дорогая тетя, а не с пальцами у окна сидеть. Вот если бы работали, хотя бы санитаркой в больнице, то и заработали бы себе на старость».

Таисия Леонидовна получила по утрате кормильца от нашего гуманного государства (СССР, если кто забыл, называлось) двадцать два (22) рубля ноль-ноль копеек.

— Суки, — сказала я, имея в виду и государство, и сволочных племянниц.

— Да не переживай ты так, папочка. На тебе десять рублей, отвези тете Тасе.

Отец, вернувшись, долго меня благодарил, рассказывал, в какой крошечной нищете живет сейчас мамина подруга, как она хочет меня увидеть и поблагодарить лично, а я махала руками — какие благодарности? На фиг, на фиг! Вот тебе еще десять рублей — отвезешь в следующий раз.

Но вскоре умер и отец.

«А как же там бедная старуха одна осталась?» — загрызла меня совесть через некоторое время, и я, на свою беду, поехала навестить Таисию Леонидовну.

Зрелище было ужасное.

Совершенно слепая и немощная древняя старуха сидела на серо-бурых от грязи простынях и протягивала ко мне руки:

— Ты кто?

— Я Наташа.

— Наташа? Какая Наташа?

— Дочка вашей подруги.

— Ах, Наташенька! Ангел мой! Спасибо тебе.

(Тут впервые прозвучало это слово — применительно ко мне.)

Я, конечно, предполагала, что подруга маминой юности, к которой она меня иногда брала с собой в гости, — важная светская дама в шуршащем шелковом платье и боа из страусовых перьев, накинутом на полные белые плечи, может выглядеть сейчас не так авантажно, как тридцать и даже десять лет назад, но представить себе не могла, насколько плачевно обстоят ее дела.

— Боже мой! — сказала я. — Вы завтракали сегодня?

— Да, — кивнула Таисия Леонидовна. — У меня еще полстакана кефира осталось. Соседка позавчера купила.

— Сейчас, — заторопилась я. — Вы не закрывайте дверь. Я скоро вернусь.

И пулей понеслась в ближайший магазин. Купила там бутылку кефира, булку хлеба, два килограмма картошки, синюю тощую советскую курицу, пачку масла. Только сыра и колбаски тогда в хабаровских магазинах никто не видел.

Мы сами ели сыр три раза в год, когда отец-фронтовик получал праздничные пайки. А хорошую колбасу и того реже — когда кто-нибудь возвращался из Москвы из отпуска или командировки.

Господи, как я любила Советский Союз!..

Как после каждого стояния в очереди желала ему поскорее содохнуть.

А Бог ведь иногда слышит искренние молитвы.

Поэтому колбасу и сыр для Таисии Леонидовны я заменила сладостями — гадкими соевыми батончиками производства Хабаровской кондитерской фабрики и дешевыми печенюшками.

Потом сварила ей легкий куриный супчик, помыла пол, только к постельному белью прикасаться не стала — постирать руками ЭТО было невозможно, забрать с собой домой в стирку — тоже. «Мне что же, стиральную машинку потом придется выкинуть?» — подумала я.

Ибо представить было немислимо, что после старухино го белья я положу туда свое.

«Нет, лучше я ей в следующий раз привезу пару комплектов старого белишка, а ее выбросим вообще к чертям собачьим».

Так и поступила.

Чистого постельного белья, как в любом приличном семейном доме, у меня был большой запас. Однако кое-что не имело уже никакой товарной ценности.

Но для старухи-то в самый раз?

В общем, «ангел» Наташа, проклиная все в душе, почти год, два раза в месяц (после зарплаты и аванса), носила сумки с едой Таисии Леонидовне, мыла полы, варила супчики и слушала ее рассказы про нехороших племянниц.

«Я в 1948 году подарила Ире на окончание школы золотые часы. А недавно напомнила — верни мне, пожалуйста, эти часики, или хотя бы деньги пришли. А она мне что ответила? «Ваших часов, тетя, давно в помине нет, а денег лишних, чтоб вам помогать, у меня тоже нет. Сама на одну пенсию живу, да еще двух внуков кормлю». Ну, не халда?»

— Халда, — послушно соглашалась я, а сама думала, сочувствуя теперь уже незнакомой племяннице Ире: какие такие золотые часики тридцатилетней давности, опомнись, дорогая тетя Тася! Кто бы их берег? Давно потеряли, передарили или в скупку отнесли. И, наверное, у Иры, живущей на одну пенсию и кормящей двух внуков, в самом деле нет денег.

Но старую-то дуру, правнучку Каратыгина, все равно было жалко.

И вот в один из приходо в с полными сумками жратвы и ритуальными десятью рублями в кармане я обнаружила раскуроченную входную дверь, рабочих, снимающих полы и обои в квартире, и полное отсутствие Таисии Леонидовны.

— А где хозяйка? — спросила я.

— Умерла, говорят, — ответил один из рабочих.

— А кто новые хозяева?

— Не знаем, — пожалы плечами мужики. — Какие-то родственники с Камчатки.

«А-а, — догадалась я. — Ира, племянница, подсутилась. Молодец, стерва».

— А где вещи бывшей хозяйки?

— Да какие ж там вещи? — удивился бригадир строителей. — Хлам один. Все на помойку унесли.

— И портрет?

— Какой портрет?

— Ну, на стене висел — дама в красном бархатном платье и в жемчужном ожерелье сидит у окна и вышивает.

— Не помню... — растерялся бригадир. — Нам сказали все вынести, мы и вынесли. Наверное, и портрет тоже. А что, он какую-то ценность представлял?

Портрет представлял ценность.

Во-первых, фамильную — если бы кто-то, хоть один человек на свете, дорожил памятью Таисии Леонидовны.

Во-вторых, музейную.

В Хабаровске сохранилось мало работ дореволюционных местных художников. Буквально на пальцах пересчитать можно. Каждую теперь трепетно берегут.

А работы были, и художники тоже были — приезжие из Москвы, из Санкт-Петербурга... Один из них и написал портрет юной жены инженера-путейца (и не забудьте — столбового дворянина, чуть ли не князя) Павла Ильича Щетинина.

Изобразил сумасшедшую (в далеком будущем) тетю Тасю в декольтированном красном бархатном платье, с жемчугами вокруг стройной шеи и с темными локонами, как у Татьяны Лариной, вдоль нежных щек.

Сейчас эта картина стоила бы дорого.

Хотя сам по себе портрет, возможно, был так себе.

Я, по крайней мере, бывшая студентка худграфы, когда в первый свой визит обратила на него внимание, подумала: «Ой, не Репин. И не Крамской. Тем более — не Тициан».

Вполне заурядное произведение местного заурядного живописца.

Но историческая ценность?

Подпись художника в нижнем правом углу была обозначена отчетливо, и искусствоведы бы установили авторство в два счета, ну а я бы им атрибутировала портрет в лучшем виде — кто изображен, в какое примерно время, как сложилась судьба портретируемой в дальнейшем...

Такие вещи тоже дорогого стоят.

Однако все пропало.

Хотя ангел от маминой подруги мне все же достался.

В предыдущее мое посещение Таисия Леонидовна, как чувствовала, дрожащей рукой вынула из горы тряпья на постели пожелтевшую вышивку с ангелом, играющим на арфе.

— Вот, — сказала, — Наташенька, это я тебе приготовила. На память. Ты же сама — ангел. А этот — пусть тебя хранит.

Куда делась вышивка правнучки Каратыгина — понятия не имею.

Наверное, пропала в один из переездов — я в молодости переезжала с квартиры на квартиру примерно каждые два года.

Ужасная непоседа была.

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Спустя месяца три-четыре мироздание обрушило на меня следующую несчастную старушку.

Не успела я вздохнуть свободно — не нужно ни к кому два раза в месяц тащить, мыть полы, варить супчики, слушать плачи про неблагодарных племянниц, да и десять рублей, если честно, тоже было жалко, как боженька показал мне фигушку — а вот этого, спросил, не хочешь?

...В овощном магазине, где я затаривалась на неделю для всей семьи — сетка картошки, сетка лука, сетка китайских яблок, килограмм морковки, штуки две свеклы, кочан капусты, меня тихонько тронула за локоть сгорбленная старушка с палочкой в руках:

— Доченька! — попросила она. — Купи мне, пожалуйста, самый маленький вилочек капусты. Очень хочется овощной супчик сварить, а денег не хватает. Вот, только на картошку достало.

И она протянула мне старорежимную авоську, где болтались штук пять картофелин. Всего-то, старенькая, на полкилограмма и наскребла, — поняла я.

— Конечно, бабушка, — сказала я.

И купила уже все, что следует — и картошки, и капусты, и морковки, и свеклы, и масла подсолнечного, потому что какой же овощной супчик без свеклы, морковки и жареного лука?

Потом взгромодила все наши покупки на тележку (я ж не глупая была — за картошкой ходить с дамской сумочкой) и отвезла все к бабушкиному подъезду. Она, как выяснилось, жила неподалеку от нас.

— Иди, доченька, иди, милая, — всплеснула руками старушка, — я уж как-нибудь сама все на пятый этаж затащу, ты и так для меня много сделала...

— На пятый этаж? — ужаснулась я и посмотрела на согбенную невесомую бабульку.

Да она умрет с такой поклажей между третьим и четвертым.

Бросила свои сумки вниз и мигом доставила бабушкину снесь на пятый этаж.

Квартира была не заперта.

— Почему? — удивилась я.

Дождалась старушенцию, которая, кряхтя, все же доковыляла со своей палочкой до верхотуры — дом был без лифта.

— Я никогда дверь не закрываю, — объяснила Мария Васильевна, так ее звали, — у меня воровать нечего. Но если плохо станет, хотя бы неделю не буду лежать мертвая. Соседи встревожатся и заглянут.

— А злых людей не боитесь?

— Злые люди стучатся к тем, у кого злые помыслы. Или деньги есть, — улыбнулась Мария Васильевна. — Мне бояться некого.

В общем, эта бабушка стала следующей моей подопечной еще на год.

Поскольку дверь у нее не запиралась ни днем, ни ночью, я иногда, закупив все необходимое с вечера, забежала к ней утром перед работой. Заглядывала в комнату — если бабушка спала, на цыпочках уходила восвояси, оставив продукты у двери. А если она уже поливала герани на окнах, говорила:

— Здравствуйте! Это я. Как вы поживаете?

— Наташенька! Наташа! — взмахивала тонкими ручками Мария Васильевна. — Ангел мой! Как тебя благодарить — не знаю.

У нее, в отличие от Таисии Леонидовны, не было ни родных племянниц, ни двоюродных внуков — вообще никого.

Она еще до войны осталась без отца и без матери.

ЧСИР — была такая зловещая аббревиатура в сталинские времена, то есть член семьи изменника родины. Папочка с мамочкой у нее, значит, попали под расстрельную статью, а Машеньку, малышку, десять лет ей всего было, отправили в детдом. И стали ее там звать «чэсэиркой».

Господи, прости за все сразу!

Ненавижу палачей советских. Да и не советских тоже.

Поэтому — прости.

А девочка выросла, образование не получила (какое могло быть образование с такой биографией и такими документами?), работала где придется, потом вышла замуж за электрика с эмальзавода. Он недолго прожил на белом свете — умер от туберкулеза. Хорошо, хоть квартиру успел получить.

Она тоже заболела туберкулезом, но выжила, правда, схлопотала еще кучу всяких разных болячек, и государство назначило ей пенсию по инвалидности — аж целых тридцать три рубля, ну, красота!

А сынок их единственный в шестнадцать лет попал по глупости, по малолетству в тюрьму да так там и сгинул.

Мальчик не вернулся из зоны.

Ухаживать за Марьей Васильевной было абсолютно некому.

Спасибо, каждый вечер соседка заглядывала, смотрела — как там бедная старушка, не загнулась еще? Иногда кашкой угощала, иногда тарелку супу наливала.

Добрая тетенька.

А я, взгромоздившись как-то утром на пятый этаж с продуктами, наткнулась на опечатанную дверь.

Все поняла без слов.

Постояла минуты две в печали, как у свежей могилы.

Врать не буду — скорбь моя была недолгой и неглубокой.

Но Мария Васильевна мне нравилась больше Таисии Леонидовны, и ангел ее самодельный жив до сих пор.

Личико и тулово у него сделаны из соленого теста, глазки нарисованы химическим карандашом, кудри наверчены из желтых ниток, а крылышки вырезаны из старой накрахмаленной тюлевой занавески.

Тоже рождественский подарок.

Им я — не поверите — дорожу. Из-за него, в основном, не выбрасываю и остальных херувимов.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Зато следующая бабушка была прекрасной.

То есть до такой степени прекрасной, что я сама бы хотела походить на нее в старости.

Да уж где уж нам уж.

Я познакомилась с ней во Владивостоке, в краевой газете. Я там работала, а она захаживала к нам в отдел. Не помню повода, по которому она появилась в первый раз: мемуары мужа ее печатались, что ли.

Звали ее, как жену Пушкина — Наталья Николаевна.

Когда, улыбаясь, она врывалась в наш кабинет, все мужики вставали и устраивали вокруг легкую свалку: кто-то помогал снять шубку, кто-то придвигал кресло, кто-то бежал заваривать чай, и все без исключения целовали ручку (здороваясь, она привычным жестом протягивала ее для поцелуя) и говорили комплименты.

Можно было подумать, что в редакцию ненароком супермодель Клаудиа Шиффер заглянула, а не семидесятитрехлетняя бабушка.

А она сияла глазами, голубой сединой, какими-то невероятными старинными брошками и была так остроумна и мило кокетлива, что даже я, самоуверенная особа двадцати семи лет, искренне ею любовалась.

Наталья Николаевна в прошлом была известной актрисой, женой адмирала и первой красавицей города Владивостока.

Говорили также, что до адмирала она была еще чьей-то женой, и этот кто-то из-за нее застрелился. Причем говорили ни в коем случае не с осуждением, а с каким-то непонятым восторгом, словно речь шла не о трагедии, а о редком ордене.

Я думаю, если б она в самом деле имела орден, к примеру, «Материнской славы», то никто бы наперегонки не кидался ей шубу подавать.

С почтением смотрели бы, конечно, но и только. Да и то не факт.

Романтическое прошлое имеет почему-то большую цену, чем земные заслуги. Люди в массе своей легкомысленны, увы.

А сама Наталья Николаевна однажды сказала: «Знаете, Наточка, если бы здоровье иногда не беспокоило, я бы согласилась родиться сразу семидесятилетней. Когда доживете до моих лет, поймете, что лучшее время в жизни — старость».

Отчего же, я и тогда ее хорошо поняла.

Это со стороны кажется сплошным праздником — актриса, первая красавица!

А на самом деле морока страшная: кто-то бесконечно твоей любви домогается, и надо отшивать настырных поклонников, кто-то тебя проклинает и кто-то — Бог ему судья — даже стреляется, а в театре — вечные интриги и соперницы, а у сына переходный возраст, а с мужем проблемы...

Господи, отпусти душу на покаяние! Прекрасно, когда уходит долгая суета и остается лишь незамутненная краткая суть.

Мне очень польстило, что Наталья Николаевна пригласила меня в гости.

Одну.

Без свиты редакционных мужиков.

Ей я, конечно, не понесла кефир и синюю курицу в кошелке.

Купила коробку дорогих конфет и долго бродила по рынку вдоль цветочных рядов, размышляла — какие же цветы подарить?

Ну, разумеется, я знала старое безотказное правило: не имеете представления о вкусах женщины, которую хотите порадовать — дарите белые розы и «Шанель № 5».

Не промахнетесь.

Угодите и пятнадцатилетней ветренице, и семидесятилетней гранд-даме.

Эти артефакты — на все возрасты и все времена.

Белые розы на прилавке были по-тургеневски хороши и свежи.

Более того, они расцветали не в голландских промышленных теплицах, как сейчас, а на Южном берегу Крыма, под утомленным солнцем, поэтому пахли томно и сладко.

Я уже почти поддалась уговорам бойкого черноглазого продавца, согласившегося даже сбавить цену, но в последний момент передумала.

«Нет, — сказала я себе, — розами Наталью Николаевну не удивишь. Хоть белыми, хоть черными. Ей их в свое время охাপками в театр и домой носили. Нужно поискать что-то другое».

И пошла бродить вдоль прилавков дальше.

Замерла возле невзрачной тетеньки, торговавшей тюльпанами и гиацинтами, час назад привезенными с личного садового участка.

Скромный букетик из пяти нежно благоухающих кудрявых пирамидок — двух розовых, двух сиреневых и одной белой заставил меня прекратить поиски.

Это был знак от Александра Александровича Блока: «Ушла. Но гиацинты ждали...»

Плюньте мне в глаза, решила я, если Наталья Николаевна мой подарок не понравится.

Я ведь уже знала — знаменитая актриса любит Блока. Она нам в редакции что-то из него декламировала.

— Ах! — обомлела Наталья Николаевна, когда я протянула ей букетик. — Гиацинты! Наташенька, как вы догадались, что это мои самые любимые цветы? Помните у Блока: «Ушла. Но гиацинты ждали, и день не разбудил окна...»

Помните?

— Помню, — кивнула я и продолжила: — «И в легких складках женской шали спала ночная тишина».

— Наташа, это потрясающе, вы ангел!

Гос-с-с-поди...

Опять я ангел.

Тут-то с чего?

Сю-сю «ангел» слегка насторожил и царापнул.

Вот от кого-кого, а от Натальи Николаевны я этого не ждала.

А Наталья Николаевна меж тем раскраснелась, сверкнула глазами, стала на секунду бывшей первой красавицей, по крайней мере, я вдруг увидела ее такой — тридцатилетней, счастливой, опьяненной успехом...

— Мы с вами выпьем сегодня вина, Наташенька? Я купила грузинского, «Саперави». Вы не откажетесь?

— Конечно, нет, — сказала я.

Вот с чего бы я отказывалась?

Я бы и сама искала в магазинах приличного вина, если б не сомневалась — а вдруг Наталья Николаевна пригласила меня только на чай? Вдруг она вообще не употребляет спиртного?

Все же семьдесят три года...

А я, как дикая «фазанка», дурочка с переулочка, с бутылкой вдруг припрусь — давайте выпьем!

Некрасиво.

Однако ж бывшая актриса употребляла.

Мы с ней на равных усидели две бутылки «Саперави», и такси, чтобы ехать домой, я вызвала только к полуночи.

За пять часов, что я провела в гостях, Наталья Николаевна показала мне все свои альбомы со сценическими портретами: она в роли Офелии, а много лет спустя — в роли Гертруды; она — Лариса из «Бесприданницы», Нора из «Кукольного дома», и так далее, и так далее, и даже — я угадала! — Незнакомка из блоковской «Незнакомки».

Заезжий московский режиссер, декадент недобитый, однажды поставил ее на малой сцене в виде эксперимента. Получилось, рассказывала Наталья Николаевна, очень интересно, но слишком необычно и вызывающе для провинциального, как бы то ни было, театра.

Спектакль показали публике всего три раза.

Потом местные власти настучали всем по лбу и сняли пьесу из репертуара.

Печальный режиссер улетел домой в Москву, а обездоленная прима долго горевала...

Это была ее роль.

Может быть, самая лучшая и самая главная в жизни.

Адмирал, смотревший на нас со стены с приветливой улыбкой, мне вдруг показалось при этих ее словах, — слегка нахмурился.

Странно.

Он ведь знал, на ком женился, и никогда не пытался превратить Наталью Николаевну в унылую домохозяйку и никчемное, хоть и роскошное, украшение дома.

Он был вполне в этом смысле либерален.

Что же тогда?

Ревновал к режиссеру?

И не по любимой роли актриса до сих пор тоскует, а по человеку, который вдруг оказался ей близок духовно в захолустном Владивостоке?

Наталья Николаевна, заплутавшая в космических пространствах звезда Серебряного века, опоздала родиться как раз на свои семьдесят лет.

Ей бы на одной сцене с Ольгой Судейкиной блистать.

А метаморфозы с портретом адмирала продолжали меня удивлять.

Когда я пришла в следующий раз, муж Натальи Николаевны, примстилось мне, уже не улыбнулся приветливо со стены, а зыркнул эдак сердито: мол, чего притащилась?

От дурочки моей еще не все услышала?

Ну-ну...

Слушай.

— Наташенька, это строго между нами. Вы даете мне слово, что никому больше не расскажете? — Наталья Николаевна нервно вертела в руках уже третий по счету бокал вина.

— Конечно, — сказала я. — Я с пяти лет «могила». Так меня отец называл. Он очень гордился тем, что я никому семейных разговоров не передаю.

Это — истинная правда.

Ни в детстве, ни в более зрелом возрасте я, узнав чей-то секрет, никогда не бежала по знакомым и не шептала на ушко — а вы слышали? А вы знаете?

Фу, какая гадость.

Так мне объяснил папа, которого я любила и слушалась.

Хорошая девочка.

Зато потом, став писательницей, я все эти секреты изложила уже широко-вещательно — для большой аудитории.

На страницах книг или журналов.

А о чем мне еще было писать?

Мой личный жизненный опыт, к сожалению, не слишком богат. Хватило бы всего на две-три полноценных повести.

Увы.

И вот вам поэтому рассекреченная тайна Натальи Николаевны.

Ее уже давно нет в живых.

Никто, надеюсь, не обидится.

...Адмирал (в то далекое время еще не адмирал, но достаточно высокий чин в морской иерархии) отбил ее у первого мужа, артиста и страшного ревнивца. Артист застрелился из охотничьего ружья, скандал на весь город был грандиозный, однако Наталья Николаевна это пережила.

А адмиралу сказала: «Я тебя люблю и выйду за тебя замуж, только дай мне слово, что никогда не будешь устраивать идиотских сцен ревности. Вот как только ты спросишь: «Кто это тебе улыбнулся на улице, он что, твой любовник?» — я сразу от тебя уйду и не буду ждать, пока ты застрелишься».

— Я — не застрелюсь, — хмыкнул адмирал, — даже если у тебя появится настоящий любовник. В жизни есть вещи поважнее любви. Я сам от тебя уйду, если пойму, что больше тебе не нужен.

И, в общем, они прожили вместе долгую счастливую жизнь.

Наталья Николаевна никогда ему не изменяла, хоть поклонников было — море, а он ей, черт его знает, может быть, тоже нет. А может быть, и да. Но поводов обсудить этот тонкий вопрос не давал.

Ну и слава богу.

Ребеночек у них родился, когда ей был тридцать один год, а ему — сорок пять.

В консультации ее обозвали «старородящей», заставили пролежать месяц в больнице, зачем — непонятно, потому что родила она сама, и мальчик родился чудный, здоровый по всем показателям, а уж какой очаровательный — это словами не рассказать.

Глазки у него были голубые, реснички длинные, как у девочки, и редкие золотистые кудряшки на лысой, пахнущей молоком и счастьем головенке...

А какой он стал подрастать нежный и удивительный!

Ласковый, послушный.

Никогда не лез в драку, если другие дети отнимали у него игрушки в песочнице, и сам никого не обижал, напротив, всем предлагал — хочешь, я подарю тебе свою машинку? Или ведерко. Или любую другую ерунду, которая имела у детей ценность.

Учился хорошо в элитной английской школе, куда принимали немногих. Закончил ее с золотой медалью. Для этого нужно было свои мозги иметь — папы-адмирала и мамы-ведущей актрисы точно бы не хватило.

Но Денику все давалось легко. Он вроде бы и немного времени на подготовку к урокам тратил, зато память — потрясающая! — выручала.

Один раз бегло прочитал текст, а потом пересказал — почти слово в слово.

Фантастика.

Играючи поступил в политехнический на отделение программирования — тогда это было в новинку, и конкурс пришлось выдержать сумасшедший — чуть не двадцать человек на место. А среди медалистов — четыре. В политехне тоже учился на одни пятерки. Папа с мамой нарадоваться не могли.

И, конечно, за ним гурьбой бегали девочки — звонили днем и ночью, сами свидания назначали. Деник махал руками: «Скажи, что меня дома нет!»

Но с некоторыми дружил.

Наталье Николаевне особенно одна нравилась — Леночка Василькова, однокурсница Дениса.

Красавицей ее никто бы не назвал, но она была стройна, элегантно, хоть и недорого, одета (растила ее одинокая мама-инженер) и прекрасно воспитана. Однако ж, самое главное — эта девочка была умна. Школу, как и Деник, закончила с золотой медалью, в политех поступила легко, безо всякого блата, языки учила по собственной инициативе — сначала уговорила Дениса записаться на курсы испанского, потом японского. А на английском они и так говорили, как по-русски — свободно.

Молодые часто засиживались допоздна в комнате мальчика, смеялись, музыку свою слушали, потом он шел ее провожать...

И Наталья Николаевна однажды сказала как бы в шутку:

— Смотри, Денька, не упусти Леночку. Таких девушек на свете больше нет. Единственный экземпляр у Господа Бога. Я бы на твоём месте на ней женилась, пока никто не увел.

— Ха-ха-ха, — закатился Денис. — Вот моя невеста в белом, шнобель, будто парабеллум! Ну ты, мама, как что ляпнешь!

— Во-первых, выбирай выражения, — обиделась Наталья Николаевна, — а во-вторых, что я такого «ляпнула»? Лена — действительно редкая девушка, и очаровательная к тому же. Носик, конечно, длинноват, но это даже пикантно. Некий французский шарм просматривается. Она мне немножко актрису Анук Эме напоминает. Я была бы рада, если б вы поженились.

— Мама, — поморщился Денис. — Какая женитьба? Нам еще два года учиться — подумай минуточку. И с Леной мы просто друзья.

— Жаль, — вздохнула Наталья Николаевна.

А через год разразилась катастрофа.

Посреди ночи позвонили из милиции.

Трубку снял адмирал.

И по тому, как то бледнело, то багровело его лицо, и как он мычал нечто нечленораздельное (обычно-то этот человек разговаривал ого-го каким командирским басом — даже с первым секретарем крайкома партии), Наталья Николаевна, вскочившая с постели вслед за мужем, поняла — случилось что-то поистине ужасное.

— Позвони моему шоферу, пусть заводит машину и подъезжает немедленно. Я пойду умоюсь, переоденусь. Нужно ехать.

Адмирал бросил трубку на рычаг. Губы у него были серые.

— Куда ехать?!

— В милицию. Дениса задержали.

— Задержали? За что?

— За гомосексуализм.

Наталья Николаевна ушам своим не поверила — это бред.

Этого не может быть.

Ему сотни девочек звонят, болтают по часу, хихикают, вместе допоздна пропадают...

Но оказалось — все правда.

Милиция внезапно накрыла некий нелегальный гей-клуб (а гомосексуализм в Советском Союзе был уголовно наказуем), и Денис там оказался завсегдагаем.

Адмирал пустил в ход все свои связи, до суда дело не дошло, мальчику срочно нашли фиктивную невесту — из числа девиц на выданье, отъезжающих вместе с родителями на ПМЖ в Израиль, — евреев тогда, к счастью, уже стали отпускать маленькими партиями на историческую родину.

Даже свадьбу для достоверности сыграли.

Наталья Николаевна не удержалась и шепотом напомнила сыну: «Ты как в воду глядел — вот твоя невеста в белом...»

Денис засмеялся:

— Да ладно, мама! Надеюсь, хоть ты меня не проклинаешь и не презираешь? Я ведь просто другой человек. Другая порода. Другое дерево. Что здесь такого?

— Ничего, — сказала Наталья Николаевна. — Я тебя люблю.

Ни в какой Израиль Денис, конечно, не поехал, задержался на полгода в Вене, потом получил визу в Америку. Там снова поступил в университет, закончил его экстерном, причем, молодец, ни копейки у мамы не попросил, сам на каникулах зарабатывал докером в порту, а папа к тому времени уже умер.

Через месяц после отъезда Дениса адмирала хватил удар.

Он не пережил позора, ибо всю эту невероятную историю с извлечением единственного любимого сына из застенков и последовавшей за тем опереточной свадьбой воспринял как несмыаемый позор.

Хотя никто ничего не узнал — суда не было, менты языками трепать не стали, знакомым объяснили: мол, что ж теперь сделаешь, влюбился мальчик в еврейскую девочку, женился и уехал вместе с ней в другую страну.

«Бывает, — кивали головами знакомые. — Дай им Бог счастья».

Неизвестно, дал ли боженька счастья фиктивной длинноносой невесте, но денег ей заплатили немало — в России на них тогда можно было «Жигули» купить. А у Деника все сложилось замечательно.

Он работает программистом в крупной фирме, получает хорошие деньги, путешествует по миру, купил квартиру, и даже Лена Василькова по-прежнему с ним дружит. Она какими-то неведомыми путями тоже оказалась в Америке, в свою очередь закончила там университет, нашла достойную работу, разыскала Дениса и вполне счастлива.

— Я думаю, — вздохнула Наталья Николаевна, — у них небесная любовь. Редчайшее родство душ.

Адмирал угрюмо посмотрел на нее со стены.

«Это ты виновата, — отчетливо прочиталось в его взгляде. — Вот они, каким боком вылезли, твои Незнакомки и гиацинты...»

«Хм... — мысленно возразила я адмиралу. — А кто ее от первого мужа увел? Кто гиацинты дарил? Не вы ли?»

«Я, — хмуро согласился адмирал. — Дурак старый. Но я любил ее, и надо было, по крайней мере, приставить к мальчишке дядьку из матросов, как у Станюковича, чтоб мужскую руку чувствовал, а не по актерским уборным шатался. Там он, видимо, всего насмотрелся и всему научился...»

«А ваша мужская рука где была?»

«Моя, — приосанился адмирал, — дальневосточным флотом командовала!»

— А-а... — пробормотала я уже вслух. — Все понятно...

— Вы что-то сказали, Ната? — не поняла Наталья Николаевна.

— Да нет, — улыбнулась я. — Это я так, сама с собой... Со мной бывает.

Не могла же я ей признаться, что телепатически беседую с адмиралом.

— Со мной тоже бывает, — оживилась Наталья Николаевна. — Я даже на сцене, не поверите, иногда заговаривалась и что-то, совсем не к месту, от себя вставляла. Это потому, что мы с вами много думаем и в своих мыслях витаем.

— Наверное... — согласилась я.

А на пятом примерно визите заскучала.

Мне уже все изложили в мельчайших подробностях и про первого мужа (ревнивца), и про второго (адмирала), и про сына (голубого), и про режиссера (непонятого гения), и про соседей, которые пьют горькую, дерутся и матерятся, хотя с виду вроде приличные люди — хозяин тоже большой чин на флоте. Узнала я также про все болячки Натальи Николаевны — у нее были проблемы со сном, давлением, желудком, печенью и еще Бог знает с чем. Я не запомнила.

— Но я никогда не жалуясь, Наташа. Меня еще в «Щуке» научили: как бы тебе ни было плохо, не распускайся, не показывай виду. Держи лицо. Я только вам все рассказываю, потому что вы мне кажетесь почти родным человеком. Если бы у меня была дочка или внучка, я бы хотела, чтоб она была похожа на вас.

— А я бы хотела, чтоб у меня была такая бабушка, как вы, — сделала я ответный реверанс. — Моя, к сожалению, была другая. Абсолютно ненормальная. Я с ней все детство воевала.

— Бедная девочка... — вздохнула Наталья Николаевна. — А у меня вы бы были любимицей, поступили во ВГИК и стали звездой экрана. Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на Веру Холодную?

Говорить-то говорили, и что из этого? Какой прок от внешнего сходства? Это скорее минус, чем плюс в киноиндустрии. Новое лицо, чтоб запомниться, должно быть ни на кого не похожим и поражать с первого взгляда.

А я никого с первого взгляда не поражаю.

Ну да, симпатичная брюнеточка, то ли хохлушка, то ли армянка, то ли еврейка, и что-то такое задумчиво-декадентское есть в облике...

Но мало ли на свете задумчивых симпатичных девушек?

Глупости.

— Я для этой профессии — слишком закрытая и самодостаточная структура, — покачала я головой. — А актер должен быть открыт и восприимчив. Разве не так?

Наталья Николаевна всплеснула руками:

— Конечно, так! Но отчего вы стали закрытой и чересчур самодостаточной? Оттого, что защищались от бабушки. И даже родителям пожаловаться на нее не могли, вы же сами говорили. А если бы были моей внучкой, вам ни от кого защищаться бы не пришлось. Напротив, вас бы окружала атмосфера любви, театра и праздника...

«Ага, — подумала я. — А лет в пятнадцать-шестнадцать меня трахнул бы какой-нибудь пьяный актер, я бы в него, конечно, влюбилась, и получила психологическую травму на всю оставшуюся жизнь — еще почище, чем от бабушки».

Нет уж.

Я бы не выбрала себе судьбу с Натальей Николаевной в роли бабушки или мамы, даже если б была такая возможность.

Визиты к старой актрисе стали меня утомлять.

Потому что превратились в обязанность.

А я не люблю обязанностей.

Наталья Николаевна звонила мне дважды в месяц и немножко детским капризным голоском щебетала в трубку:

— Наташенька, вы придете завтра вечером? Я вас жду. Я соскучилась.

Пару раз я отказалась, сославшись на какие-то дела.

Наталья Николаевна была в отчаянии.

И я поняла, что влипла. Теперь мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас.

Ужаснее всего, что ей от меня ничего не нужно было, кроме запоздалой дружбы и чтения стихов — наизусть.

Ни супчиков, ни мытья полов, ни продуктовых наборов.

Наталья Николаевна ни в чем не нуждалась. У нее была хорошая пенсия, и адмирал кое-какие сбережения оставил, и сынок Денис нашел каналы, чтоб передавать матери доллары через моряков. Те меняли их на боны, Наталья Николаевна бежала в «Березку» и покупала все, что душенька ее пожелает — финский сервелат, французский сыр, дорогие духи, шампуни, обувь...

Полами и супчиками занималась домработница.

Поэтому от меня требовалась только душа, торжественно объявленная «родственной», стихи и — цветы.

Без букета я на пороге не появлялась. Гиацинты на рынке продавались не всегда, но что-нибудь затейливое для знаменитой актрисы я, конечно, находила: то те самые, рекомендованные учебником современного этикета, белые розы, то лилии, то изысканные ирисы, а один раз пришла с васильками.

Весь вечер мы говорили о Марке Шагале, потому что с кем же еще могут ассоциироваться васильки? Но под конец Наталья Николаевна, расшалившись, взяла гитару и спела душещипательный романс «Ах, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле!»

— Печальная история, — хихикнула я, когда прозвучал последний аккорд. — Олю очень жалко.

Ибо в песне шла речь о некой легкомысленной девушке Оле, для которой молодой человек трогательно собирал в поле василечки, а она пренебрегла и им, и цветами. За что и получила удар кинжалом в сердце, и труп ее, в венке из васильков, ушел на дно.

Обрыдаться можно.

— А вы знаете, Наташа, что это — Апухтин? — спросила Наталья Николаевна, отставив гитару в сторону.

— Апухтин?! — не поверила я. — Не может быть. Он не мог такую бредятину написать. Простите.

— А он и не писал, — улыбнулась Наталья Николаевна. — Но вы помните его стихотворение «Сумасшедший»?

— Нет, не помню... — смешалась я.

К стыду своему, поэзию девятнадцатого века я знаю хуже, чем поэзию века Серебряного — ну, что-то из Пушкина, что-то из Лермонтова, что-то из Батюшкова, что-то из Апухтина: «Подайте милостыню ей...»

Все.

Красиво, романтично, но, в общем, скучно.

Хотя, безусловно, это высокая поэзия, друзья мои, как говорил профессор Электрон Дементьев у нас в университете.

Только все равно скучно.

— Да как же? — удивилась Наталья Николаевна. — Это одно из лучших его стихотворений.

Побежала к книжным шкафам, порылась там минутку, потом вышла с томиком Апухтина и начала читать, будто была на сцене:

— Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх.

И так далее — про господина, который лежит в сумасшедшем доме, а его пришли навестить жена и ее брат. Господин воображает себя королем, а гостей своими подданными. Поэтому так величественно выступает.

Потом на минуту наступает просветление, и он без пафоса, тихо, в песенной манере вспоминает, как в безоблачный летний день собирал в поле васильки для любимой доченьки Оли. И даже целовал «се бледные ножки худые».

Слезы капают.

По сюжету не очень ясно, отчего он свихнулся, но я думаю, Оленька умерла от чахотки (иначе при чем здесь акцент на «худых ножках»?), а папочка не вынес потрясения и стал в результате королем в дурке позапрошлого века.

Хотя в духе современной психиатрии можно предположить и инцест.

А что? Раньше тоже всякое случалось.

Сам же признался, что целовал Олины ножки...

Потом, конечно, последовало раскаяние, отчаяние, чувство вины и всякое такое.

Одним словом, привет, ку-ку: «Садитесь, я вам рад!»

Король-Солнце в полной красе.

Эту версию я и изложила Наталье Николаевне.

Она возмутилась:

— Да что вы, Наташа, несусветное говорите! Не ожидала от вас такого цинизма. Просто этот человек испытал редкое, невиданное счастье, собирая цветы для дочери. И душа не вынесла потрясения...

«Чушь, — хотела сказать я, но не сказала. — Счастливые люди не сходят с ума, не спиваются и не кончают жизнь самоубийством. Это случается с ними только от горя. Или от чувства вины».

Я лишь пожала плечами:

— Ну, не знаю... Может быть, я и не права. Я не настаиваю.

Версия она и есть — версия.

А вы, Наталья Николаевна, так и не состарившееся, несмотря на семьдесят три года, юное дитя Серебряного века.

Однако забавно, как эту запутанную психологическую драму интерпретировали сентиментальные российские уголовники (ведь чем страшнее люди, тем сентиментальнее): любящий отец превратился в ревнивого кровожадного любовника, Оля из голенастого подростка преобразилась в легкомысленную соблазнительную девицу, и финал оказался страшен.

Хоть и смешон.

Апухтин отдохнул.

Но был у нас и еще один памятный разговор о поэзии.

Как-то вдруг выяснилось, что обе мы с ней достаточно прохладно относимся к Гумилеву, за исключением одного стихотворения.

Оно у нас — на двоих — любимое.

Не про изысканного жирафа, что характерно, и не про отважных капитанов, тех, «что бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвут пистолет», и даже не про мертвые слова, которые дурно пахнут, как погибшие пчелы в опустелом улье.

Это все помнят и все любят.

Нет.

Мы одновременно вспомнили историю бедняка, который пять лет служил у богача и стерег в лугах его коней.

«И за то мне подарил богач пять быков, приученных к ярму».

Я даже процитирую дальнейший текст полностью, ибо это, во-первых, красиво (я так художественно не перескажу), а во-вторых, концептуально:

*Одного из них зарезал лев,
Я нашел в траве его следы,*

*Надо лучше охранять крааль,
Надо на ночь зажигать костер.*

*А второй взбесился и бежал,
Звонкою ужаленный осой,
Я блуждал по зарослям пять дней,
Но нигде не мог его найти.*

*Двум другим подсыпал мой сосед
В пойло ядовитой белены,
И они валялись на земле
С высунутым синим языком.*

*Заколот последнего я сам,
Чтобы было, чем попить
В час, когда пылал соседский дом
И вопил в нем связанный сосед.*

О, йес!

Но, выяснив это, мы с Натальей Николаевной с минуту испуганно смотрели друг на друга.

«А ты, оказывается, мстительная женщина, — подумала я. — Вот с чего бы? Я — понятно. Во мне бабушка до сих пор аукается, и Советский Союз, и его палачи всех мастей, и прочие нелюди покоя не дают. А ты? Кого ты ненавидишь?»

Наталья Николаевна поправила камешком из оникса на кружевном воротнике и смущенно улыбнулась:

— Да, девочка моя, не все так просто. Любимые строки нас выдали с головой. Мы с тобой в глубине души оказались злыми и мстительными. Но, может быть, это нас и роднит? Мне тоже есть кому пожелать даже не смерти — он давно умер, но уж загробных мучений на миллион лет вперед этот человек точно заслужил. Не хочу о нем говорить.

Я так и не узнала, кого Наталья Николаевна имела в виду — то ли своего личного лютого врага, то ли кого-то, кто испортил жизнь Денису.

Хотя почему испортил?

Мальчик живет так, как ему хочется, и живет неплохо, дай ему Бог счастья.

Хорошо, что он уехал из нашей дикой страны, где гомофобы — фашисты-нацисты — и просто гопники периодически били бы ему морду.

Неужели маме это было бы приятней?

Нет, конечно.

Наталья Николаевна сама мне много раз говорила: как кстати случился тот скандал в Денисовой юности.

Отец еще был жив, сгладил острые углы, договорился с нужными людьми, заплатил деньги, отправил ребенка за границу...

Она бы так не сумела.

Наталья Николаевна любила сына и мужа и во всем их поддерживала, даже если они были, на ее взгляд, неправы.

Она была хорошая женщина, и ее белого атласного ангела, подаренного на Рождество, я очень берегла. Он стоял у меня за стеклом в книжном шкафу.

Актрисе привез этого херувимчика кто-то из моряков, бывших сослуживцев мужа — очаровательное игрушечное существо с раскосыми японскими глазками, крылышками за спиной и ключичком чуть ниже.

Когда ключик поворачивали, ангел начинал петь нежным голоском:

— Джингл белс, джингл белс, джингл ол зе вейт...

Прелесть.

Но его кто-то из моих завистливых гостей, как я уже говорила, украл.

А с Натальей Николаевной жизнь нас развела раньше ее и моей смерти — так сложилось.

Мне пришлось спешно уехать из Владивостока, и больше я старую актрису — прекрасную, серебряную, гиацинтовую и ониксовую — никогда не видела.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПРО ДЕДУШКУ И НЕВКУСНУЮ БУЛОЧКУ

Город Хабаровск встретил меня негостеприимно.

Это показалось обидным.

В конце концов, я родилась здесь и по праву рождения могла рассчитывать если не на торжественную встречу с цветами, оркестром и ковровой дорожкой, то хотя бы на вежливую улыбку. Пусть на беглый кивок головой — привет, мол, беглянка, вернуться решила? Ну-ну...

Вместо них с высоты птичьего полета на меня посыпались смачные плевки и какашки — крупные и мелкие.

— Ты что творишь, родимый город? — возопила я наконец, стоя на набережной и обращаясь к незатейливому символу дальневосточной столицы — Амурскому утесу. — Ты почему себя так ведешь? Что я тебе плохого сделала? Не узнаешь в упор, гнобишь всячески, в черном теле держишь... Безобразие. Своим детям у порядочных людей принято помогать. Я ведь в конце концов твоя ребенок!

— Ты че, совсем ополоумела? — ответил простецкий город Ха. — Тридцать лет тетке, а все еще ребенок. Уморила. Тебе надо — так давай, шуруй. Действуй. Кто тебе не дает?

Шуровать я не умею в принципе.

А действовать — едва-едва.

Поэтому полгода сидела с ребенком без работы, перебивалась с хлеба на воду, жила тем, что относила в скупку свои скромные украшения, а в «Букинист» — редкие дорогие книги.

В эти полгода я никому не помогала и никого не утешала.

Мне бы кто помог и утешил.

Но один слабенький звоночек с небес все-таки прозвенел. «Не обольщайся, — хмыкнуло мироздание. — Так просто ты от судьбы не отделаешься».

Однажды, в теплый летний вечер, когда мы с ребенком решили покормить возле булочной голубей, к нам подошел симпатичный сероглазый дедушка — лет семидесяти на вид.

Чистенький, сухонький, улыбчивый.

Попросил вежливо:

— Простите, пожалуйста, не могли бы вы отдать эту булочку не голубям, а мне?

— Да, конечно... — растерялась я.

А мальчик мой пятилетний удивился:

— Это же совсем невкусная булочка, самая дешевая, мы ее специально для голубей купили.

— Ничего, — сказал дедушка. — Я люблю такие булочки.

Всякий нормальный человек на моем месте протянул бы дедуле незамысловатое кондитерское изделие и пошел своей дорогой дальше, но я вдруг засуетилась:

— Может быть, вы кушать хотите? Давайте я вам хлеба куплю, и макарон, и пряников каких-нибудь...

Я была богатая: только что в «Букинисте» мне отвалили шестьдесят рублей за роскошное дореволюционное издание Шиллера.

— Спасибо, — отказался дедушка. — Мне ничего не нужно. Мне просто захотелось съесть вашу невкусную булочку.

«Странный сюжет, — размышляла я по дороге домой. — Почему дедушке от меня ничего не нужно? Видимо, потому, что дедушка — всяко не бабушка. Он в картину судьбы не вписывается. А бабушки еще ждут впереди».

И накаркала.

НАДЕЖДА НИКИФОРОВНА, ИЛИ «ВИЛЬКИНА БАБУШКА»

Вилькой звали лохматого старого пса среднего собачьего роста и более чем упитанной комплекции: он был неприлично толст, одышлив и меланхоличен. Со спиной, похожей на широкую деревенскую скамейку, и всегда висячим неопрятным хвостом.

...У Анатолия Мариенгофа вычитала недавно роскошную имажинистскую фразу: «Собака с плакучим хвостом придорожной ивы не сквернословила».

Сразу вспомнила Вильку.

Как он ковыляет по двору, переваливаясь с боку на бок, метет пыль своей когда-то пушистой, а теперь свалявшейся грязной метелкой, иногда, впрочем, приподнимая ее, чтоб покакать или скупно вильнуть раза два, приветствуя знакомых.

Например, меня.

Мы с его хозяйкой Надеждой Никифоровной, бывшей учительницей русского языка и литературы, оказались соседками по лестничной площадке.

При моей нулевой общительности и таком же нулевом интересе к посторонним людям могли бы не познакомиться никогда (в своей последней квартире я живу уже двадцать с лишним лет, а соседей знаю только в лицо, даже имена их мне неведомы, и профессии, тем более — личная жизнь), но с Надеждой Никифоровной нас свела эта старая псина.

...Мой ребенок панически боялся собак. Почему — не знаю. Ни один пес его ни разу не укусил и даже не напугал. Но, если мальчик замечал в километре от себя некое мохнатое четвероногое существо, сразу бледнел, прятался за мою спину и умолял:

— Давай перейдем на другую сторону! Навстречу собака бежит.

— И что? — пожимала я плечами. — Пусть бежит. Она тебя не тронет. А если тронет, я ее прогоню.

— Не-е-ет! — блажил мальчик. — Давай перейдем. Я боюсь!

Вилька при первой встрече тоже довел его до истерики.

Мы столкнулись утром в дверях.

Надежда Никифоровна повела своего друга на прогулку, а мы с мальчиком собрались в садик.

Вилька посмотрел на нас печальными мудрыми глазами, слегка приподнял «плакучую иву» и вяло махнул ею пару раз туда-сюда. Типа поздоровался.

А мальчик завизжал, как потерпевший:

— Укусит!!! Укусит!!!

— Да что ты, маленький! — хрипло прошелестела сопровождавшая пса грузная старуха с такими же печальными и мудрыми глазами, как у ее собаки. — Он не кусается. Он очень добрый. Его зовут Вилька. Можешь его погладить.

— Боюсь... — прошептал мальчик.

— Не бойся, милый, — включилась в мизансцену я. — Эта собачка точно не кусается. Давай ее вместе погладим.

Я почесала пса за ухом, а ребенок осторожно дотронулся пальчиками до широченной Вилькиной спины.

Метелка еще несколько раз мотнулась из стороны в сторону.

— Ну вот, видишь, — сказала я. — Ты погладил собаку, и она тебя не съела. Даже не гавкнула.

Вилька вообще редко гавкал.

Тем более не сквернословил.

Всю дорогу до садика мальчик радовался маленькой победе над врожденным страхом (неужто в прошлой жизни его загрызли свирепые лагерные псы или дикие койоты в зарослях чапарала?) и щебетал:

— Мама, я ведь погладил собачку, да? Не испугался! Она хорошая. Я ее теперь никогда не буду бояться. А другие собачки тоже хорошие? Их тоже не надо бояться?

— Собаки, солнце мое, бывают разные, — рассудительно отвечала я. — Как — люди. Бывают злые, бывают добрые. Всех подряд гладить не нужно. Но Вилька — безусловно хороший. Его не бойся и гладь, сколько хочешь.

А через два дня наступила Пасха.

Светлое Христово воскресенье.

Куличей я, конечно, отродясь не пекла, и нынче не разбежалась, но штук десять яиц луковой шелухой с вечера накрасила. Печеньки какие-то ребенку на завтрак подала, конфетки...

И вдруг раздался звонок в дверь.

Я открыла.

На пороге стояла Надежда Никифоровна, нарядная.

В беленкой косыночке, в синей бархатной кофте, даже с брошкой у ворота — не с античной камеей из оникса, конечно, как у Натальи Николаевны, но что-то такое стеклянное и блестящее старая учительница к воротничку прицепила.

— Христос воскрес! — сорванным еще двадцать лет назад голосом тихо прошипела она.

— Э-э-э... Да... Воистину воскрес! — вспомнила я, и вспомнила также, что при этих словах честным христианам положено целоваться.

Мы трижды облобызались.

— Это вам, — сказала Надежда Никифоровна и водрузила на стол нечто, укрытое белой крахмальной салфеткой.

Нечто оказалось огромным пышным куличом, украшенным шоколадной глазурью, а сверху — белыми сахарными буквами Х. и В. и белым, не слишком умелой рукой обозначенным, ангелочком.

— О-о-о! — потрясенно вздохнули мы с ребенком.

Мы такой роскоши никогда не видели.

— Вы сами это чудо испекли?

— Конечно, сама. Кто же еще? Я каждый год пеку куличи. Жаль только, есть их некому.

— Я все съем! — нахально заявил мальчик.

— На здоровье, маленький, — улыбнулась Надежда Никифоровна.

— А мы вчера вечером вам завидовали, — сказала я. — От вашей двери так вкусно пахло сдобным тестом... Ванилью... Я, к сожалению, совсем не умею печь.

— У вас зато каждый день вкусно пахнет жареным мясом. Я вам чаще завидую, — вздохнула Надежда Никифоровна.

На свою пенсию учительницы она, конечно, не могла позволить себе мяса на ужин. Хотя бы изредка. Картошка, страшные серые макароны, каши разные — эту гадость ели каждый день Вилька и его бабушка.

Мальчик мой стал так ее называть: «Вилькина бабушка».

Мясо, которое ели мы, назвать мясом, между тем, можно было только условно. Это были американские куриные окорочка, или «ножки Буша», как их тогда называли.

Уже наступила перестройка, в магазинах пропали продукты, по карточкам выдавали двести граммов подсолнечного масла на человека в месяц (и две бутылки водки), а окорочка нам с мальчиком ящиками таскала торгашка Нинка, моя соседка справа.

Надежда Никифоровна жила слева.

Нинка сама со мной подружилась.

Мы въехали с ней в этот дом практически в один день — она откуда-то поменяла свое жилье на улицу революционного деятеля Гамарника, и я с ребенком наконец-то нашла работу и угол и освободила родственников от своего обременительного присутствия.

Новоселье отпраздновали вместе — тарелками делились, табуретками...

Нинка быстро смекнула, чем я могу быть ей полезна.

— Книжки можешь доставать?

Книги все еще были твердой валютой.

И доставать их я могла.

Во-первых, сама устроилась на работу в контору, которая выпускала книги, иногда неплохие (город Ха после моего демарша у Амурского утеса снял санкции с беглянки), во-вторых, бывала на закрытых книжных ярмарках и партийных конференциях, где продавали уж вовсе немыслимый дефицит — зарубежные детективы, Дрюона, Булгакова...

Одним словом, натуральный обмен состоялся: я трелевала ей книжки — пачками, а она мне ножки Буша — ящиками.

Однако ж, куда мне было девать столько окорочков?

Я изощрялась, как могла: и жарила их, и варила, и фаршировала, и мариновала, и холодные закуски из них делала, и горячие... Все равно мы с ребенком и немногочисленными гостями такого количества курятины одолеть не могли. А выбрасывать — давила жаба.

Спасителями нашими стали Надежда Никифоровна и старичок Вилька.

С ежедневной курятины Уильям похудел, поздоровел и залоснился. А уж когда я отвела его к знакомой собачнице, и та его постригла и убрала все колтуны, пес вообще превратился в красавца. У него даже порода обозначилась — американский кокер-спаниель. Вот откуда явились свету этот сократовский лоб и мудрые, совершенно человеческие глаза. Только «плакучая ива», которую в детстве песику почему-то не отчекрыжили, в смысле — не купировали, немножко портила картину. Но вымытая шампунем и тщательно расчесанная, она уже не выглядела так уныло.

Мы с мальчиком теперь часто брали его на прогулку в дендрарий — благо, жили поблизости. Надежда-то Никифоровна выводила Вильку только во двор — голый,

безликий и пыльный, гулять с собакой подолгу ей было трудно. Ноги болели, давление зашкаливало...

А нам с сыночком неспешные променады по прохладному и тихому лесопарку почти в центре города в обществе Вильки были только в радость.

Один раз он нашел нам в желтой осенней листве настоящего живого ежика. Тот сначала смешно фыркал и смотрел сердитыми черными глазками, а потом свернулся в клубочек.

Вилька попробовал покатать его лапой, но быстро понял, что дело это — бесполезное.

И вот тут он впервые в нашем присутствии немножко посквернословил.

Сказал кой-чего от души на универсальном собачьем и человеческом этому вредному ежику.

Я, во всяком случае, почти все поняла.

Ребенку переводить не стала.

А вскоре на моем горизонте замаячила еще одна старушка, соседка с третьего этажа.

Надежда Никифоровна попросила, немного смущаясь:

— Наташа, простите, пожалуйста, но вы не могли бы подняться на третий этаж к Алевтине Сергеевне? Что-то я расхворалась на непогоду, ноги отказывают, боюсь, упаду на лестнице. А она тоже лежит, встать не может. Позвонила, что совсем плохая. А кошки голодные.

Кошки, кошки...

Смутная картинка мелькнула в моей голове: лето, жарница смертная, и безобразная старуха с выпученными глазами и распухшими ногами в меховых чунях (в июльский-то зной!) кормит у крыльца чем-то вонючим подвальных котов и кошек. Штук десять их тогда налетело на мерзопакостное угощение.

Я, скривившись, прошла мимо.

Ну, кормишь и корми, я-то здесь при чем?

А это, оказывается, была Алевтина Сергеевна — то ли подруга, то ли просто подопечная Надежды Никифоровны.

— Это которая с базедовой болезнью? — зачем-то уточнила я.

— Да, — качала головой Надежда Никифоровна. — У нее еще и водянка, и куча других болячек. Но она очень добрая женщина. Всех несчастных жалеет. Кошек вон бездомных кормит, хоть самой есть нечего... Она еще хуже меня живет. Мне вы помогаете, и дочка иногда деньги присылает, да и пенсия у меня побольше. А она совсем нищая и одинокая. У нее жених в войну погиб, в танке сторел, и она ему всю жизнь верность хранила. Представляете, какая судьба? Замуж не вышла, детей не родила... Святая!

Я проямлила обреченно:

— Конечно. Что нужно сделать?

— Отнесите ей пакет с едой, в холодильнике на верхней полке стоит. На кухне, вы знаете. А если не трудно, купите еще бутылку кефира, ладно? Я сейчас денежку дам.

Надежда Никифоровна потянулась за сумочкой, лежавшей на кресле рядом с диваном, но я ее остановила:

— Да Господь с вами! Какие деньги? Я куплю кефир. Не разорюсь, уж поверьте.

— Спасибо, Наташенька, — тихо прошелестела старая учительница и улыбнулась всем лицом сразу: и пепельного цвета губами, и ясными карими глазами, и морщинками на лбу и возле рта, а Вилька раза три стукнул по полу своей «плакучей ивой», тоже, значит, улыбнулся.

А я вздохнула печально — мне для полного и окончательного счастья только кошатницы этой сумасшедшей, Пенелопы, не скажу какой, не хватало. Однако такая уж, видать, планида у Степаниды, то есть у меня, черт бы меня поскорей побрал вместе со всеми несчастными бабушками.

И поплелась на кухню за пакетом для Алевтины Сергеевны.

АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА

— Тебя Надя прислала? — из-под грязного одеяла на меня смотрела выпученными бельмами, прости, Господи, Надежда Константиновна Крупская, подруга жизни вождя мирового пролетариата, седая и всклокоченная, только еще страшнее.

Дверь в квартиру была не заперта, и это сразу напомнило мне одинокую детдомовку Марию Васильевну, а грязь, невозможный запах и вопиющая нищета — незабвенную Таисию Леонидовну. Только у той воняло старостью и близкой смертью, а у этой смердело, помимо всего прочего, еще и погаными кошками. Может, их было десять. А может, сто. Не знаю.

Мой мальчик, когда ему было два года, считал так: «Одинь, две, тли, че, пать, ого!»

Вот и у меня — все, что больше пяти, это «ого!»

— Да, — кивнула я. — Она заболела, встать не может. Попросила меня. Надежда Никифоровна вам тут пакет передала. Я его на кухню отнесу, хорошо?

Грязные подвальные твари смотрели на меня из всех углов горящими жадными глазами, путались под ногами, а парочка самых наглых попыталась спрыгнуть со шкафа на голову.

Ужасы нашего городка.

Я кое-как бросила пакет на кухонный стол и кинулась к выходу.

Однако «Крупская» меня остановила:

— Погоди. Ты же книжки пишешь? Я тебе сейчас почище всякой книжки историю расскажу.

Книжки я тогда не писала, а издавала, это — разные вещи, но вдаваться в такие тонкости не стала — без толку ведь.

Просто притормозила на пороге. Ибо повернуться и уйти было невежливо.

— Я Томке сколько раз говорила — не делай аборт! — кошатница выкатила на меня и без того безумные шары. — Вот станешь старой, кто тебе стакан воды подаст? А она не послушалась. И что теперь?

— Стоп, — опупела я. — Какая Томка, какой аборт? Вы с этого места поподробнее, пожалуйста.

Алевтина Сергеевна не смутилась.

— Да Томка, подружка моя, в Южном микрорайоне живет. Ее все знают, и я сто раз рассказывала. У нее жених, как и у меня, в войну погиб, ну, я-то своему верной осталась, а она завела себе мужика. И чо-то они не поженились, а она аборт сделала. Уж как я ее уговаривала: Тома, оставь ребеночка! Вместе поднимем, я помогать буду... Нет, нашла, дура, где-то бабуку, выскреблась. И что теперь?

— Что? — спросила я.

— Да ничего, — Алевтина Сергеевна в сердцах сплюнула. — Хотела потом родить, да не получилось. Лежит теперь одна-одинешенька в своем Южном, тоже встать не может.

— Ладно, извините, я пойду, — заторопилась я.

Испугалась, что на меня сейчас еще и дуру Томку навесят.

Но, слава богу, обошлось.

А к Алевтине Сергеевне мне пришлось подниматься почти всю неделю. И потом несколько лет, когда Надежда Никифоровна болела, я ее замещала. И каждый раз кошатница рассказывала мне какую-нибудь ерунду — без начала и без конца. И даже без середины.

Почти все я, к счастью, забыла, но одна тусклая «лав стори» почему-то запомнилась.

Наверное, потому, что у старухи она оказалась ярчайшим воспоминанием в жизни, буквально бриллиантом, не побоюсь этого пафосного слова, в ее стародавнической короне.

Я перескажу сюжет связно.

На самом деле звучало и выглядело это примерно так:

Я (задерживая дыхание и отворачивая нос в сторону, чтоб не дышать вонью) стучусь в дверь:

— Алевтина Сергеевна! Вы не спите? Это я, Наташа. Я вам кефир принесла, булочки и рыбу для котов.

А. С., выкатив бельма:

— Положи на стол. А меня папа душой обозвал.

— Папа?

Кошатнице было за семьдесят. Отец ее, я так понимаю, давно лежал в могиле. Как же ухитрился обозвать? Неужто во сне? Я приготовилась выслушать бредовый рассказ о бредовом сне.

— Да. Он ничего не понял — я ведь молоденькая была, всего двадцать два года, я его боялась, думала — он меня заругает...

— За что?

— Ну, парень один за мной хотел поухаживать...

И так далее.

Однако после наводящих вопросов и уточнений картина все-таки прояснилась. И вот она целиком, в законченном варианте, как на выставке.

Любуйтесь.

— Я сразу после войны продавщицей в универмаг устроилась, в отдел мужской одежды меня взяли, других мест не было, но работать-то надо было где-то. А мужчины меня совсем не интересовали, нет... И вот заходит какой-то парень, носки выбирает. И те ему не те, и эти — не эти. Копался, копался, потом попросил жалобную книгу. Я напугала-а-а-сь! У нас начальница смены строгая была. Я к ней подхожу, сердце бьется, говорю — мужчина жалобную книгу просит, а я не знаю, почему. Я ему не грубила, все подавала, что хотел.

Та на меня как зыркнет! Раз просит, говорит, значит, отдай. Ну, отнесла я ему эту жалобную книгу, а сама убежала в закуток, сижу, пла-а-ачу... Тут начальница меня разыскала, говорит — да что ты нюни распустила? Ты посмотри, что он написал! Беру книгу, а там такие комплименты! И нигде-то никогда его лучше не обслуживали, и прошу объявить благодарность продавцу. Я чуть в обморок не упала. А вечером пришла домой, папе с мамой все рассказала, они посмеялись. Говорят — наверное, доча, ты ему понравилась. Он с тобой, вот увидишь, познакомится захочет.

И ты знаешь, в самом деле, вечером на следующий день иду с работы домой, смотрю — у подъезда тот самый парень стоит. С букетом роз. Где только раздобыл? В Хабаровске их тогда днем с огнем было не найти. И узнал же у кого-то, где я живу, и когда с работы возвращаюсь.

Говорит: вы такая необыкновенная, вы мне так понравились! Давайте встретимся. В кино ходим или в ресторан — как вы решите. А я говорю: что вы, что

вы, меня родители дома ждут. «Ну, — отвечает, — пригласите меня домой, я с вашими родителями познакомлюсь. У меня серьезные намерения». Ой! Тут я вообще перепугалась, розы его в мусорный бак бросила и как стрекану по лестнице! Дома отец сразу увидел, что я не в себе, и спрашивает: что случилось? Я — так, мол, и так. А папа мне и говорит: «Ты у меня дура, доча». Представляешь? Мне так обидно стало. Я пла-а-а-кала-а-а...

Ну, что ж не представить? Конечно, представляю. Прав папа — натуральная дура.

Я с большим недоверием отношусь к лебединой верности. Ханжество в ней есть и трусливый побег от реальной жизни.

Вот раньше девушки в монастырь уходили — погиб жених или по какому-то другому поводу свадьба расстроилась, всё, говорят. Другого не хочу. Буду теперь Христовой невестой.

Хотя ведь, если честно, что-то здесь не так. Зачем Христу столько невест? Еще передерутся там, святые девы, возле светлого престола.

А зачем Алевтина Сергеевна всю жизнь хранила верность погибшему на войне жениху?

Чтоб заработать базедову болезнь, водянку, полный маразм, нищету и одиночество?

И чтоб, когда умрет, за гробом бежали ее триста тридцать три кошки.

Беда.

Кстати, первый попсовый китайский ангел в моей коллекции принадлежит Алевтине Сергеевне. Она его купила на тщательно сберегаемые копейки от кошачьей еды и собственного кефира. Остальные, числом шесть, принадлежат другим старушкам, которые волею судьбы вторгались в мою жизнь на протяжении последних двадцати пяти лет.

Я не буду о них рассказывать.

Ничего интересного.

Все они так или иначе походили на Таисию Леонидовну, Марию Васильевну и Алевтину Сергеевну: одинокие, больные и полубезумные.

Аминь.

ПАДЕЖИ

— Наташа, а почему вы такая добрая? — спросила однажды Надежда Никифорова.

Мы пили чай на ее кухне, а Вилька, чавкая, дожирал очередную вареную куриную ногу.

Красная сахарница в белый горох закрывала неотмываемое малиновое пятно на голубой клеенке — след от растворимого, дешевого, якобы питьевого порошка «Юппи». Бедная, бедная бабушка, бывшая учительница!

Я своего мальчишка такой отравой остерегалась поить.

Но при словах Надежды Никифоровны подавилась чаем и вскричала возмущенно:

— Да с чего вы взяли? Я совсем недобрая! Я злая. Знаете, какое прозвище у меня в университете было? НАТО!

Это правда.

Знакомясь с однокурсниками, я представлялась:

— Ната.

Так привыкла.

Так меня называла мама в честь любимой актрисы Наты Вачнадзе и в память о своих грузинских предках, да и самой мне гордая Ната нравилась куда больше простодушной уютной Наташи. Я вообще люблю короткие имена с повторяющимися, как горное эхо, вольным и прохладным «а»: Ната, Нана, Лара, Анна...

Особенно Анна.

«Ах, матовый ангел на льду голубом! Ахматовой Анне пишу я в альбом».

Жаль, что меня не назвали Анной.

Но Ната — тоже ничего.

Однако ж еще в колхозе, сразу после абитуры, однокурсники переделали мое красивое имя в нечто устрашающее — НАТО.

Жупел, как тогда говорили, проклятого империализма.

Им показалось, что я — очень суровая и агрессивная девушка.

Ну да, было несколько инцидентов, когда мальчики после нехитрых студенческих попок попытались пристать ко мне с нежностями. Трое получили в пятак маленьким твердым кулачком, остальные отстали навеки.

Но главное случилось после омерзительного ужина, когда студентов, весь день работавших на поле под морозящим дождем, голодных, промокших насквозь и почти заледеневших, накормили чем-то вовсе непотребным — холодной и раскисшей пшенной кашей, сваренной на воде, вперемешку с перезрелыми, желтыми, ватными огурцами.

Есть это не стал никто. Все возмущались, матерились, вываливали кушево в бак для отходов, но, когда в столовой появился румяный колхозный бригадир, классический деревенский парубок с пшеничным чубом из-под кепочки набекрень, и сказал: «Молодцы, ребятки, хорошо сегодня поработали!», народ уныло промолчал. Только я выскочила, глаза выпучила.

Я была уже точно не из поколения Павки Корчагина. И строить какую-то там узкоколейку в голоде и холоде не собиралась. Меня легендарный Павка наверняка обвинил бы в мелкобуржуазности и презрел навеки.

Ну и пес с ним.

— А вы — не молодцы! — срываясь на визг, заорала на бригадира. — Вот это что такое? — потрясла я перед его носом тарелкой со свиными помоями. — Так даже эков в тюрьме не кормят!

— А ты откуда знаешь? — нагло прищурился бригадир. — Сидела, что ли?

— Сидела! — рявкнула я. — Пять лет на малолетке — от звонка до звонка. Кстати, за убийство колхозного бригадира — он нас, школьников, тоже черт-те чем кормил.

Бригадир побледнел и отшатнулся.

Однокурсники захихикали.

А я пообещала пожаловаться и в райком, и в крайком, и чуть ли не в ООН лично товарищу У Тану. Ну, или кто тогда был секретарем Организации Объединенных Наций.

Не помню.

Однокурсники откровенно заржали.

Бригадир бочком-бочком тихо слинял из столовой.

Студенты зато буйно развеселились. Кто-то уже успел сбежать в магазин за «Яблочком» — дешевым пойлом вроде «Солнцедара», килькой в томате и еще какой-то несъедобной дрянью, но все же эта дрянь была лучше холодной раскисшей пшенной каши.

Разлили по стаканам и выпили за меня, храброю.

— Ну, ты сильная, мать! — одобрительно загудели парни. — Грозна! Прямо не Ната, а НАТО. Навела ракеты. Бабахнула. Напугала бригадира к чертям собачьим.

— Ой, я сейчас описуюсь! — закатилась моя подружка Валька. — Точно НАТО. У Тану она напишет! Ой, не могу!

— А где по фене ботать научилась? — строго посмотрел на меня взрослый, отслуживший армию однокурсник. — «Малолетка», «от звонка до звонка»... Надо же.

— У папы друг — начальник милиции. Я его попросила однажды составить мне словарик блатных выражений. Из чисто филологических соображений.

Второе, после неудавшегося худграфовского, образование я получила на филологическом факультете Дальневосточного университета.

— А-а-а... — разочарованно вздохнул дяденька-однокурсник.

Однако на колхозное начальство я все-таки наябедничала — не в райком, конечно, и не У Тану, а родному папочке. Он кой-какую должность в городе занимал и по своим каналам навел шороху — наглым пейзамам накрутили хвоста.

А вот пусть не воруют!

Им на студентов деньги, вообще-то, из краевого бюджета выделяли — и на тушенку, и на масло, и на молоко... Куда дели?

То-то же.

Зато НАТО прижилось: «Где это НАТО шляется?», «Передайте НАТО...» и так далее.

Я несколько не обижалась, потому что звучало это мило и даже нежно, почти по-хохляцки или по-грузински: «Мамо... НАТО... Дато Батоно...»

Потом, конечно, забылось.

Теперь я Наталья Викторовна, для друзей — Натка или Наташа, а для вечного бойфренда — ах, душа моя, Натали.

Надежда Никифоровна улыбнулась, выслушав эту историю, и сказала:

— Как вас в юности называли — ничего не значит. Молодые люди часто заблуждаются. Это нормально. Это свойственно молодости. А я людей, как старая учительница, привыкла делить по падежам. И мне кажется, почти никогда не ошибаюсь.

— По падежам? — удивилась я. — Как это? Именительный, родительный, дательный?

— Именно. А еще винительный, творительный и предложный. Иван Родил Девчонку, Велел Ташить Пеленку. Вас так не учили падежи запоминать?

— Нет, — засмеялась я. — Первый раз слышу. Приколно. Но я, в общем, и без Ивана все сразу на всю оставшуюся жизнь запомнила. А другие, что ли, нет?

— Другие — нет, — вздохнула Надежда Никифоровна. — Наверное, дети, которых я учила, в отличие от вас, были слегка туповаты. Им этот глупый стишок очень помогал. Так вот, что я хочу сказать — все люди, как имена существительные, то есть существующие сейчас на этом свете, делятся по падежам. Именительный, сами понимаете — я! я! я! Я пошел, я сделал. Я — молодец! И так далее. Крайне неприятные особи. Хотя потом, кому повезет, становятся лидерами. Даже президентами — посмотрите на экран.

Родительный — тоже понятно. Кого-чего. Моего ребенка (маму, жену, друга) не трожь, а то бедный будешь. Моего бизнеса, моего дома тоже. Тут главное — инстинкт собственника. За свое кровное убьют и не поморщатся. И не дай Бог никому родиться вот в такой «родительной» семье. Потому что, если ребенок отклонится в сторону, его тоже убьют, фигурально говоря — просто вычеркнут из списка родственников.

А вы, Наташа, представляете собою некую смесь из дательного и винительного. Вы всегда как будто в чем-то виноваты и пытаетесь загладить вину, что-то отдавая людям.

— То есть откупаюсь? — спросила я, пораженная.

Я ничего не рассказывала Надежде Никифоровне ни о бабушке своей Прасковье Ивановне, ни о других старушках. Как она догадалась?

— Ну почему — откупаетесь? — улыбнулась учительница. — Просто отдаете, отдаете и отдаете все время, и все равно чувствуете себя виноватой. Я заметила это, когда вы к Алевтине Сергеевне вместо меня ходили. У вас было очень виноватое выражение лица.

— О господи, — вздохнула я. — Да к ней же невозможно ходить — кошки эти, и вонища, и грязь непролазная... А во-вторых, с ней и говорить-то нельзя — она всякую ересь несет, без начала и без конца, ничего не поймешь. Не знаю, как вы с ней разговариваете. А не пойти тоже нельзя — жалко, человек все-таки. Одна лежит, встать не может... Совесть не позволяет.

— Совесть, вы правильное слово сказали. — Надежда Никифоровна откусила печеньку, запила чаем. — У человека дательного и тем более винительного и должна быть совесть. У других ее почему-то нет.

«Да при чем здесь совесть? — чуть не закричала я. — Иррациональная категория, которая... Глупости. Я — злой человек. Грубый. Циничный. Я никого не люблю, кроме своего ребенка, любовника, за которого хотела бы выйти замуж, но не могу — у него жена и дети, да нескольких сумасшедших подружек».

А подружки мои и впрямь сумасшедшие: одна на мужа свихнулась, который все гуляет, сердешный, никак нагуляться не может, другая — на позитивной психологии (держи карму шире, хочешь изменить мир, меняй ПКМ — Привычную Картину Мира, на любой вопрос есть любой ответ, маловато не бывает и пр.), третья — на здоровье.

На курсы какие-то ходит, голодать под наблюдением врачей в пансионаты ездит...

Страшное дело.

Вот она — самая сумасшедшая. Слава богу, живет в другом городе.

Но я ее изредка навещаю. Обычно на Рождество, поскольку Новый год — это все-таки семейный праздник, и я его провожу с ребенком и уже подростками друзьями мальчика.

...В последний раз наша встреча выглядела так: я приехала, обнялись, поцеловались, обменялись подарками, сели за стол, выпили, поговорили, посмеялись, посмотрели какую-то муть по ящичку, потом легли спать.

Утром проснулись почти одновременно, пересеклись на кухне.

— Свари кофе, — сказала Валька (та самая, что чуть не описалась тридцать лет назад при имени У Тана). — У тебя это лучше получается.

— Легко, — согласилась я.

Поддумянила немножко в турке молотую арабику, положила ложку сахара, плеснула кипятка, дождалась, пока поднимется пенка и разлила кофе по чашкам.

Сделали по глотку.

— Вкусно, — похвалила Валентина и вдруг безо всякой связи с нынешним безмятежным утром и вчерашними, не менее безмятежными, посиделками бабахнула:

— Вот говорила же я: Людка, кретинка, не делай аборт!

Я обомлела.

Незабвенная Алевтина Сергеевна предстала перед моим внутренним взором во всей неземной красе: какая еще Людка? какой аборт?..

Это что — бродячий сюжет такой? Или фишка всех безумных бабушек?

Хотя моя подруга бабушкой отнюдь не выглядела — она была пострижена у хорошего парикмахера, намазана дорогим кремом, и дома у нее все было чисто и презентабельно. Ни кошками, ни собаками, ни одинокой старостью не воняло.

Напротив — настоящим кофе, легкими французскими духами...

Да и лет ей было не семьдесят, а всего пятьдесят пять. Вроде рановато для маразма.

— Так, Валя, остановись, — сказала я, приходя в себя. — Начни с начала. Кто такая Людка?

— Да ты что, не помнишь? Ты два года назад приезжала, мы к ней в гости ходили. Неужели забыла?

Разумеется, забыла. Вот бы я всех Людок, к которым меня случайно занесло в гости, помнила.

— Н-ну... — промямлила я неопределенно и напрягла мозги. — Что-то смутно припоминаю. Толстая такая, в кудряшках? Холодцом растаявшим нас угощала?

— Ну да. Болеет она теперь. Плачет, что ухаживать за ней некому. А я ей говорила двадцать пять лет назад: Людка, не делай аборт. Оставь ребеночка.

Ага, все-таки бродячий сюжет.

И, увы, фишка безумных бабушек.

Я посмотрела отстраненным взглядом на нас с подругой: сидят, как говорили в девятнадцатом веке, в дезабилье за утренним кофеом две достойные с виду, ухоженные дамы постбалзаковского возраста.

А на самом деле — идиотки, ничем не отличающиеся от Алевтины Сергеевны.

Боже, какая грусть!

— Я к ней в гости не пойду, — резко открестилась я, — даже не проси.

— Да? — закручинилась Валентина. — А я думала — сходим. Ей бы приятно было — ты ей понравилась, она тебя часто вспоминает.

«Блин!» — сказала я про себя.

Но куда же денешься от дательного и винительного?

Сходили.

Людмила вскоре умерла от рака, а к Вальке я с тех пор не ездила.

Уже лет семь прошло.

Хотя она каждый год зовет.

Но со своими я церемонюсь почему-то меньше, чем с чужими. Надеюсь, наверное, что они меня просто так, за сам факт существования на этой земле, любят.

В общем, нет у меня совести.

Есть только извращенная вежливость, которая не позволяет отказать в небольшой услуге чужому человеку.

Свой-то, хрен с ним, перетопчется...

Ошиблась Надежда Никифоровна, старая учительница с пасхальными куличами, неуклюжими сахарными ангелочками на шоколадной глазури и стеклянной брошкой на синей бархатной кофте.

Себя она, кстати, относил к людям падежа предложного. «Я все время думаю, — говорила она, — о чем, о ком? О себе, о вас, о вашем мальчике, о своей дочери, вообще о жизни. И ничего не делаю. Только думаю...»

АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА

Я уже сама бабушка.

Мне шестьдесят семь лет.

У меня двое внуков — мальчик и девочка. Забавные — невероятно. Мальчик (ему скоро будет шесть) говорит: «Я — великий мастер кунг-фу!», кричит «Ки-я!» и делает характерные движения руками и ногами. Девочка (скоро будет три) во

всем подражает брату. Тоже изображает конечностями нечто воинственное и орет что есть мочи: «Ку-я!»

Умереть можно от смеха.

Поэтому я, расслабившись, стала думать, что эпопея с неприкаянными чужими бабушками уже закончилась.

И падежи дательный и винительный остались в прошлом.

Все долги я отдала, перед кем была виновата — повинулась.

Поэтому настало время падежа творительного.

Ну, ведь творю же я что-то потихоньку?

Повести пишу.

И есть люди, которым они нравятся. Читатели мне даже письма пишут.

«А вот тут ты, как всегда, ошиблась», — сказала мироздание и подкинуло мне Альбину Андреевну.

Она была матерью моей самой любимой подруги Аси — младше меня на пятнадцать лет. В принципе, я сама могла бы быть ей матерью, а что такого?

Ведь есть же девочки, которые рожают в пятнадцать? Я видела таких, даже лежала с одной в роддоме в четырехместной палате.

Милая была девчущка, совсем не гулящая. Просто мальчик ее уходил в армию, и вот всего-то один раз у них и случилось...

Мать с отцом ее, конечно, были против, даже аборт чуть не заставили сделать, зато родители молодого папашки поддержали. Сказали: да все хорошо, Маринка, не бойся. Будешь у нас жить. Воспитаем ребенка, вырастим — в лучшем виде.

Встречать ее из роддома приехал бугай-свекр — мужик лет сорока на собственной машине с огромным букетом роз.

Мы, роженицы, переживали за юную мать и успокоились, когда увидели, как свекр бережно несет к машине завернутого в голубое атласное одеялко маленького неожиданного внука.

А сзади семенит Маринка с розами, гордая.

Ну и почему бы я не могла быть такой скороспелой матерью?

Могла бы.

Но, к счастью, не случилось.

Своего мальчика я родила только в двадцать пять лет.

Тем не менее с Асей мы замечательно дружили. В отпуск каждый год вместе ездили. На даче летом веселились. Дома у нее собирались компанией, а мама, Альбина Андреевна, нас угощала. Ах, какие прекрасные были у нее пироги с рыбой и капустой, а какое мясо с овощами, запеченное в духовке!

Сказка.

Компания состояла из пяти человек: кроме меня и Аси в нее входили еще три женщины разных возрастов — от сорока до шестидесяти. Но разница в возрасте никого не смущала. Мы называли себя большой вьетнамской семьей и, в общем, были счастливы.

А потом Ася умерла. Сгорела за три месяца. Это был шок.

Но ужаснее всего, что гостеприимная и такая, казалось, родная Альбина Андреевна после похорон нас прокляла. Позвонила каждой и без объявления войны прокричала в трубку:

— Да будьте вы все прокляты! Подруги, называется! Вы не любили Асю, вы ее просто использовали. Вам выгодно было с ней дружить, не возражайте. Вы ее бросили и предали в трудную минуту, вы ее за всю зиму даже ни разу не навестили! Короче, я вас не знаю!

И — хлоп кнопку отбоя, не слушая объяснений и оправданий.

Отреагировали мы примерно одинаково — замерли, тупо глядя на погасший экран: что это было?

Потом стали перезваниваться друг с другом: «Мне сейчас Альбина Андреевна звонила, что неслы — не передать». — «Ой, и мне! Мы Асю не любили, надо же такое придумать!» — «Ага, мы ее использовали: в чем, когда?» — «А тебя она тоже прокляла?» — «Конечно. Сказала: «Будьте вы все прокляты! И ты в том числе».

Что старушке стукнуло в тот момент в голову — неведомо.

И ведь все — неправда.

Асю мы любили. Без нее жизнь до сих пор не жизнь, хоть уже два года прошло.

Никто ее не использовал.

Деньги занимали, да.

Конечно, она была самая богатая из нас. Однако всегда отдавали!

Неоплаченных долгов ни у кого не осталось. А ведь случалось, что и Аська у нас занимала. Хотя мы у нее, конечно, чаще. Но какие счета могут быть между друзьями? Есть деньги — дал, нет — сказал, извини, сейчас не могу.

Так и было.

А Альбина Андреевна, оказывается, скрупулезно подсчитывала каждую копеечку — кто сколько занял и кто когда отдал. Аська до конца дней оставалась маминой дочкой — ничего от нее не скрывала. Вплоть до мелочей.

И насчет «предали и бросили» вранье.

Я с Асей практически каждый вечер созванивалась и в гости приезжала, а за день до смерти навестила в больницу. Она там всего-то неделю и пролежала.

На умирающую была непохожа. Сама спустилась в холл, сидела, болтала о каких-то пустяках. Даже смеялась. Планировала, как мы вдвоем летом к морю съездим...

А ночью ей стало плохо, увезли в реанимацию, и утром она умерла.

Остальные подруги ее тоже не забывали — звонили, изредка приезжали, хотели в воскресенье нагрнуть, но ей уже ничьи визиты были не нужны.

Ася лежала в морге.

Что ж теперь?

Это — жизнь. Это — смерть.

Обе непостижимые, нелепые и непоправимые.

Кого винить?

Я бы, видит Бог, хотела провести с Аськой ее последние дни, как провела их с умирающими на моих руках мамой и папой: поить с ложечки, делать уколы (я могу!), слушать, что они говорят в полубреду, не спать, поправлять одеяла и подушки, закрывать шторы, чтобы солнце в глаза не било, и вообще — не отлучаться ни на секунду.

Но мне нужно утром встать, умыться, одеться, разбудить, умыть и одеть внука, отвести его в садик, поехать на работу, оттрубить там, сколько нужно, потом забрать мальчика из сада, прийти домой, накормить всех ужином, поиграть с ребенком, искупать его на ночь, приготовить ему одежду на утро, а там уж и спать пора. Куда-то из дома выбраться — проблема. Приходится ломать весь уклад жизни, чтоб найти себе заместителей...

Это сложно.

И у других так же. У каждого своя суета и свои печали.

Поэтому все страшно обиделись, и общение с Альбиной Андреевной прекратили напрочь.

Ни визита, ни звонка, ни поздравления с праздником.

Только я не обиделась.

Я филолог по образованию и знаю, что «обижаться» — глагол возвратный.

Кто-то тебя обидел — это его дело, Бог рассудит и, если нужно, накажет или простит, а ты обиделась — значит, обидела сама себя.

Зачем же мне себя, любимую, обижать?

Я просто осталась пребывать в глубоком недоумении — что же это все-таки было?

Но общаться прекратила тоже.

Ни привета, называется, ни звонка, ни записочки. В смысле — sms-ки.

Нарываться на оскорбления, что ни говорите, никому не хочется.

Однако через полгода ночью меня разбудил звонок.

Альбина Андреевна трагическим рыдающим голосом пробудькала в трубку:

— Наташа, прости, я тебя, наверное, разбудила?

— Разбудили... — пробормотала я спросонья не слишком вежливо.

— Прости еще раз. Я не сплю, у меня бессонница, сижу, плачу, Асю вспоминаю, и так захотелось хоть с кем-то поговорить. Решила тебе позвонить.

Я уже проснулась, и привычная декоративная вежливость проснулась тоже.

— Спасибо, что позвонили, — сказала я, светская. — Рада вас слышать.

— Ты, правда, на меня не обижаешься? Я наговорила тебе в прошлый раз Бог знает чего, сама не помню. На меня тогда будто какое-то затмение нашло. Прости. Скажи девчонкам — пусть тоже не обижаются. Я вас всех приглашаю в пятницу в гости. Приезжайте после работы, я ужин приготовлю, посидим, как в старые времена, Асю помянем.

— Хорошо, — сказала я, неискренняя. — Постараемся приехать.

Я ведь наперед точно знала, что девушки не поедут. Мы эту тему не раз обсуждали, и все в один голос отреклись — Альбину Андреевну они больше не знают. Как и она их.

Но все-таки позвонила подругам.

Мол, ну что вы, девки, грех на старуху сердиться, ну, сумасшедшая она была от горя, ну пришла немножко в разум, слава богу, давайте навестим ее — ради Аси. Ни у кого корона с головы не свалится.

— Нет, — сказали девчонки (от сорока до шестидесяти, ежели кто запомит-вал). — Мы на нее не сердимся. И даже простили — от всей души. Но видеть не хотим.

Господи, что ж я-то такая необидчивая?

Пришлось поехать одной.

С цветами, с дорогой бутылкой.

Ибо Альбина Андреевна — чуть более упрощенный и приземленный вариант Натальи Николаевны, последней звезды Серебряного века, маленько заблудившейся в пыльных спиральных Млечного Пути.

Но тоже дама не из простых.

...Автобус недолго катился по скучной чиновничьей улице Ленина, потом повернул вниз, к бульвару.

Накрапывал дождь.

Тротуары светились желтыми опавшими листьями.

Неторопливо шли по своим делам женщины — в разноцветных плащах, с яркими зонтиками.

Каждая просилась в кадр.

«Город в тумане похож на морское дно. Лица женщин прозрачны, и плащи их колышутся, как розовые и голубые медузы», — так писала я в далекой юности о дождливых днях октябрьского листопада в Хабаровске.

Вспомнила и поежилась: тфу на тебя, Наталья, поэтесса уездная. Красиво — аж плюнуть хочется.

Хотя по сути все верно — провинциальные тетки точно похожи на медуз. Такие же в массе своей аморфные и противные. А некоторые еще и смертельно жалятся.

И я ничем от них не отличаюсь: бесхребетная, но ядовитая.

Вот зачем я безропотно еду к чужой и не слишком приятной мне бабушке, а не пишу письмо своей, вполне симпатичной?

В далеком Могилеве у меня живет почти девяностолетняя свекровь. Я ее нежно люблю с первой встречи.

...Нелли Алексеевна, белоруска по паспорту, дама, приятная во всех отношениях, по-русски говорила прекрасно, без всякого акцента, но иногда ей нравилось изобразить из себя деревенскую упертую тетеньку. Особенно перед новенькими она любила комедиантствовать.

Меня, например, в начале нашего знакомства она четко решила проверить на шивовость.

Мы с мужем приехали к ней знакомиться, когда я была на шестом месяце беременности. Я плохо себя чувствовала, часто плакала и бесконечно обнимала унитаза. И мне было абсолютно все равно, на каком языке «свяхров» говорит — да хоть бы по-марсиански стрекотала!

Мне было не до того.

Зато муж ужасно злился. Все ему было в материнском доме не так: и диван узкий, и сметана чересчур густая, и сало сильно сальное, и жена куксится больше обычного, и мамочка вдобавок ко всем проблемам вздумала выдрючиваться.

— Мама! — однажды не выдержал он. — Да прекрати ты валять дурака. Ты что, разучилась по-человечески говорить? Ну, к чему этот театр одной актрисы?

Нелли Алексеевна посмотрела на него иронически из-под темно-рыжих, тщательного уложенных кудрей и вздохнула печально:

— Негде котика издохты. На мать уже и беременную жену стал бросаться.

Тут я закатилась на весь город Могилев, и, ей-богу, часа два не могла успокоиться. Хохотала, как припадочная.

И как-то сразу после этого резко повеселела и поздоровела — и токсикоз прекратился, и слезы высохли...

Но «котика» ее, которому негде «издохты», до сих пор вспоминаю часто.

То кто-нибудь из близких начнет вдруг на стенки прыгать и берцовые кости всем мимо проходящим домочадцам перекусывать, то очередная Альбина Андреевна взбеленится и наорет по телефону совершенно не по делу. Ну просто бог знает что.

Я понимаю — у каждого свои проблемы, людям нужно выпустить пар и на ком-то сорвать злость, но я-то здесь при чем?

Господи, спасибо Нелли Алексеевне!

Если бы не она, я бы, наверное, тоже в ответ сорвалась и завизжала истошно — мол, на себя посмотри! Сейчас расскажу, кто ты есть такой (такая) на самом деле. И рассказала бы.

Ой, уж я умею рассказывать!

Некоторым и не снилось.

Однако перед глазами в такие минуты немедленно возникает «свяхров», и ее иронический взгляд из-под медных кудрей, и бессмертная фраза про котика.

И мне становится смешно.

Скандал обычно рассасывается сам собою.

В общем, славная она женщина, я к ней всегда хорошо относилась, и она ко мне тоже, несмотря на то что с сыном ее мы разошлись тысячу лет назад, даже мальчика моего уже в живых нет — он на машине разбился.

Однако ж листок бумаги, на котором написано: «Здравствуйте, дорогая Нелли Алексеевна! У нас все в порядке» уже второй месяц валяется на моем рабочем столе.

Продолжение пытаюсь сочинить каждый день и — не могу. Почему — не знаю. Не могу, и все.

Может быть, потому, что на самом деле у нас далеко не все в порядке — «кабак и полное безобразия», как говорила моя мама, и невестку свою, хамку редкостную, я ненавижу, но вынуждена терпеть ради маленьких детей. Да ведь не напишу я об этом свекрови?

А она волнуется, старенькая, телеграммы шлет: «Обеспокоена молчанием...»
Сволочь я.

И зарабатываю себе новую плохую судьбу, чтоб лет этак через сто, в следующей жизни, пройдя через вереницу пока безымянных, ненужных бабушек, сесть за компьютер и написать:

«Это что-то кармическое...»

